**Расшифровка видео IMG\_7452**

**Интервью с Лидией Дохотару (дев. Келе), конец октября 2019 г., Кишинев, в номере отеля Florance**

**Lidia Dohotaru (Chele)**

Ольга Кривовяз: Лидия, мы продолжим наше интервью. Начало у нас было несколько дней назад, и мы уже поговорили о каких-то подробностях того, что произошло. Но сейчас немножечко хотелось бы задать вопросы о вашем детстве, именно о том, что вы помните. И дальше о том, как вы пережили, как смотрите на этот прошедший опыт. Я буду немножко задавать вопросы по ходу дела и надеюсь, получится еще какая-то интересная часть. Сначала хотелось бы поговорить о вашем детстве, о том, как вы жили, где вы жили в самом начале после высылки с вашей мамой и куда вы переселились в 1944 году в Пудино. Условия вашей жизни. Такие картины вашей жизни, примеры, чтобы немножко показать вкус той реальности, как вы ее видели.

Лидия Дохотару: Я только реальность могу говорить. То, что было, через что мы прошли. Детство, конечно, было безрадостное, голодное, холодное, обездоленное. Как у большинства детей, особенно тех, которые были сосланы. По началу нас распределили в Кулики с другими семьями. Из рассказов мамы я знаю, что… вот она там [в воспоминаниях] описывает, что последние уже от Пудино до Куликов по тайге шла пешком и несла меня на руках. Мне в дороге исполнилось 11 месяцев. Комары, мошкара, неопределенность. И она еще, как она говорила, не могла войти в ту новую роль, в которой она оказалась. Что с ней происходит? Почему вот эти люди, которые рядом с ней, также как она страдают и не знают почему? И что с нами есть и что будет дальше? Тоже со слов мамы я знаю, что распределили поначалу к старожилам. И маму распределили к одной женщине. И она пишет о ней – Марфа Суенко. И вот эта женщина, мама характеризует ее как очень добрую и приветливую. Она приняла маму со всей душой, показала ей место – лавку. Говорит: «Вот здесь положи ребенка». И дала ей… насыпала там картошки и сказала: «Ешь». А по-румынски «ешь» - «выходи» (рум. ieși). Мама так поняла, повернулась к лавке взять меня на руки. Эта женщина поняла, что она не поняла язык, и подошла к ней, взяла ее за руку, подвела к столу, дала ей ложку. И показала ей: «Кушай». Вот это всё для мамы осталось на всю жизнь. Она говорит, что вот эта доброта, понимание ситуации, в которой мы были, как-то, в какой-то мере подбодряло, обнадёживало. Были там в Куликах заброшенные хаты, никто не жил там. И вот несколько семей, по-моему, четыре в том числе и мама наняли одну хату и… Там была очень плохая дверь. Вот это я немножко помню, смутно как-то. И вот эту дверь они подпирали таким небольшим… кол или как назвать… подпирали ее, какой-то дерюгой завешивали зимой. И была печка, топили, но всё равно было холодно. И мама ложилась в эту соломенную… в солому, в матрас этот соломенный, обогревала, потом меня брала с собой. Вот я выжила, потому что я имела очень заботливую маму. Она старалась… Она мне не раз говорила: «Я видела тебя маленькой, беспомощной, беззащитной и поставила себе цель – я должна выжить и тогда выживет и мой ребенок». И вот в Куликах мы прожили до 1944 года. Те, которые там она описывает из Бельц. Кроме нас было, по-моему, 12 или 13 семей. Она описывает – кем они были до депортации. Все были порядочные люди. И оказались в ситуации трудно описуемой. И если даже депортировали – создали бы какие-то условия, чтобы люди могли обустроиться на месте, начать работать, зарабатывать, как-то себя обеспечивать. Были заброшены, оставлены на произвол судьбы, и каждый решал свою судьбу как мог. Те, которые были без детей, и имели какие-то… прихватив с собой какие-то там запасы денег, не знаю, вещей, что они там имели… Сумели каким-то образом выбраться в Пудино. А вот так уже… (я подвожу вот так, читая, и как она рассказывала) где-то уже в 1944 году осталась семья Кривовяз и мы – две семьи. В Пудино жила бывшая преподавательница индустриального лицея Марина Алексеевна Гарбузова. Ее муж, как и мой отец, был в Ивделе. А она была там с сыном, с пасынком – сын ее мужа. Он уже был взрослый. Его, слава богу, не взяли в Ивдель. И вот она и еще другая женщина – Боковану фамилию ее, я помню это по рассказам мамы и она это и пишет… Они ей посоветовали: «Ты там погибнешь в Куликах. Там негде работать, нет возможности жить». Это во-первых. А во-вторых, их заставили там подписать, что они добровольно хотят в этом колхозе работать. А это захудалый колхоз, не было чем пахать, и они копали эту землю. В сенокос надо было идти. Тяжелая физическая работа. И вот они ей посоветовали. Марина Алексеевна поговорила со своим сыном. Договорились. Так как они были в Пудино, составили этот фиктивный брак. А он уже был на учете, чтобы его в Томск переслать на какую-то стройку или на завод – не хватало мужчин, шла война или сразу после войны не хватало рабочих. И вот мама пошла на этот шаг. Сразу она… Да и что еще подтолкнуло? Трагическая гибель семьи Кривовязов. Поначалу умерла бабушка – старая женщина. Потом умерла мама и ее младший сын. На голых досках лежали. Вот она мне когда это рассказывала, мне как-то становилось… Я там была, но я была маленькая – 2-3 года. Сколько мне было? Я это всё не могла воспринять, как взрослый человек. На голых досках, голодные, раздетые, заброшенные. Потому что поначалу, когда они имели какие-то средства, они даже купили себе какой-то небольшой домик. Старались они. И потом они не были приспособлены к физическому труду. И вот эта трагедия… А двое старших – мальчик и девочка – пошли с милостыней по тайге. И вот это ее заставило пойти на этот шаг – действительно, если я тут останусь, я тоже так. И потом там еще семья Линчаков очень трагически погибла. Что я буду тут делать? И перебралась в Пудино. Там тоже ее ждали тяжелые физические работы. В артели «Луч Севера». Но так как она была молодая, ее посылали тоже на тяжелые физические работы. Когда мы были в Куликах, когда она шла копать там, на сенокос, в тайгу на лесоповал, она меня оставляла в яслях или как там. И не кормили. И как-то… А может быть и побили меня, не знаю, но пришел ездовой – человек, который с телегой перевозил это сено (лето было, они были на сенокосе), и сказал: «Катя, твоя дочка умерла». Мама, говорит, когда он это сказал, мне казалось, что все деревья, которые вокруг меня валятся на меня. Какое-то оцепенение, какой-то страх, какая-то неожиданность. И все, которые там были вокруг, сказали: «Ты не расстраивайся, иди». И бригадир, который был с ними, разрешил ей прийти. Но была дорога, по который ехали, мост там был через Чузик более-менее хороший и подвода там ехала, а была такая тропинка по тайге и там переброшенные доски. Такая временная. Ей посоветовали – там в объезд, там дальше, а тут ближе, беги. И вот она когда вышла к Чузику (это она мне рассказывала), вот эти 3 или 4 доски тоненькие переброшены через речку. А Чузик он не очень широкий, но глубокий. Он такой норовистый, он все время там себе менял русло. Раза два, сколько мы там были, он менял русло и создавал старицы. На старом месте создавались озера, старицы их называли. И когда она увидела эти доски тоненькие через Чузик, она говорит: «Я встала на колени, перекрестилась и попросила вот так про себя: Господи, если ты мне поможешь и если я перейду здесь эту речку, значит мой ребенок жив». И худенькая, как она была, так взяла разгон и через эти доски пробежала, углубилась на 3-4 метра в тайгу и услышала, как что-то упало в реку. Она повернулась, смотрит – эти доски плывут по реке. Осталась одна. А вот там 3-4 (сколько их там было). И она говорит: «Я так подумала – ты жива». И сколько было сил бежала. Когда пришла, я была без сознания. Или меня не покормили, а может побили – кто его знает, что там было. Вот одна из тех женщин, которая там была, говорит: «Мы позвали фельдшера». У фельдшера фамилия была, если я не ошибаюсь Мокрицкий (Макрицкий?). Он посмотрел на меня беспомощную, без памяти и сказал: «А пусть подыхает» и ушел. И мама это и описывает. А другая из тех, которые там в этих яслях работали или…, говорит: «Давай я ей принесу немножечко молока, дашь ей». А мама говорит, она мне начала делать массаж. Начала руки, ноги вот так растирать и лицо. И говорит: «Нет, не молока, если неможко тепленькой воды». Вот так мне через рот. И я пришла в себя. Я был очевидно и от голода. И кто его знает – может побили, и я перепугалась и потеряла сознание. Не знаю. Пришла я в себя, и мама взяла на руки. Пришла в ту избу, где они жили вчетвером. И мама говорит, что надо было идти на работу. Если не идешь, ты враг народа. Если не идешь, ты против власти и все. На второй или на третий день она опять понесла меня туда в садик, в эти ясли. Потом, когда я подросла, мне уже было годика 4, мы еще были в Куликах, меня уже не брали в ясли. Я ходила так – по Куликам, вот так туда-сюда. И мне запомнился на всю жизнь запах каши в яслях там вот. Хотелось кушать, но я не была в яслях. Я не знаю, как она меня… Я ей говорю: «Мама, во что ты меня одевала». Да, говорит, из разных там лохмотьев, тряпок что-то там сошью, стряпаю вот так. Валенок не было, она сама шила какие-то наподобие бурок, натягивала вот таким образом. И еще я вот в Куликах помню там был постоялый двор. Вот зимой, когда на санях ездили, останавливались там люди. И у меня не было санок, была такая досточка, на которой я каталась. И я видела, как мужчина поднял у лошади ногу, посмотрел. Так это спокойно, все. А у лошади такие были как белые носки, ноги внизу белые, как носки на ней. И что-то мне пришло в голову погладить. И когда я только подошла, а она лягнула. И вот так по этой досточке, как я ее держала, и отшвырнула меня это лошадь. Это я считаю, как божья милость или судьба вот так вот, потому что было очень много ситуаций (раз чуть не утонула, это уже в Пудино), когда из этой ситуации выходила. И я спрашивала маму, когда я уже подросла, а мы были уже в Пудино: «Мама, а у меня есть отец? Вот у того есть, у того, а меня есть отец?» Мама говорила есть, он придет к нам, придет. Отец уже был мертв, уже она знала, что он в лагере умер. Она мне говорила, что придет к нам. Она, наверное, и сама верила – может быть он придет. И сказала, что он уже никогда не придет, что его нет в живых, когда мне было 10 лет. Говорит: «У тебя нет отца, он умер». И я его знаю только по фотографиям. Там еще в Пудино одна пожилая женщина, она знала моего отца, она из Бельц, Тринштейн – переписывалась со своим мужем. И мама ее спросила: «Спросите вашего мужа, может они вместе там». Потому что разделили семьи без права переписки, без права общения. И уже когда сюда прибыли в Кулики, подписали этот рабский договор, что добровольно идут в этот колхоз, и второе – что добровольно переселяются на постоянное место жительства в Сибирь на 25 лет. Это какие-то рабские договора. Кто не выполнял – наказывали жестоко, избивали. Ну женщины в основном шли на это ради своих детей и подписывали все эти…

Ольга Кривовяз: А издевались в основном начальники, нквдшники?

Лидия Дохотару: Да.

Ольга Кривовяз: Местные люди в принципе хорошо относились?

Лидия Дохотару: Местные люди нет. Хорошо. Потому что там было много тоже таких, как мы в 1930е годы. Там было много казаков с Дона, с Кубани. И очень такие порядочные люди, хозяйские люди. Вот там в артели «Луч Севера» был председателем поначалу, когда мама там начала работать, казак с Кубани Федотов фамилия. Я не помню, как его звали, но фамилия Федотов. Такой грузный мужчина, лысоватый. Они с женой там жили. И вот когда он уехал, вместо него стал другой – Беспятов. А Федотов был очень человечный. И он как-то к этим сосланным относился с пониманием.

Мама продолжала на этих физических работах. Мало получала. Здоровье уже начинало показывать, что уже нельзя там больше. И тоже женщины, которые из сосланных, посоветовали, чтобы она пошла к врачу, который там был один, единственный врач на всю округу – Ольга Крюкова. Отчество не запомнила. Она маме дала справку (я ее видела лично), что у нее хроническая недостаточность сердечных клапанов. Это тяжелый диагноз. Да – и написала, что противопоказан тяжелый физический труд. И тоже уже женщины там сосланные и другие сказали – иди в комендатуру, потому что без комендатуры, без коменданта мы не могли и шага сделать. И она так немножко… я вот так вспоминаю эту ситуацию, когда она тогда пришла с поликлиники, и я посмотрела, и я говорю: «Мама, иди попроси, чтобы тебя на более легкую работу поставили». Я видела, как она страдает, как она уже не может… Чем я могла помочь, когда страдали вокруг нас столько людей, как и мы. И некоторые не выдерживали и умирали. И я вот так смутно, но помню этот момент, как она пошла в комендатуру и была немножко не уверена. Она как-то мне сказала: «Ну посмотрю, даст бог, может что-то решится. Бог поможет». Она не была фанатиком, верующим или как, но просто она вот так… Иногда она становилась в уголочек и так что-то вроде как молилась, просила что-то, потому что она мне говорила, как она училась в Яссах в учительской школе и им преподавали религию. Но священник, который им преподавал религию, ее им не как пустую догму преподавал, а как философию жизни. Давал ситуации из жизни – вот такая, такая и как в такой ситуации с верой в бога, с верой в хорошее ты можешь победить. Вот она говорит: «Мне это помогло. Я часто вспоминала слова этого священника». Она потом мне говорила. И вот она иногда так что-то помолится вот так и как-то я видела, что ей вроде как легче. Она старалась себя чем-то подбодрить вот так. Когда она пришла из комендатуры, она была так рада. Говорит: «Вот комендант разрешил мне идти к Федотову, чтоб Федотов определил ее на более легкую работу». И Федотов определил ее в швейный цех. Она поначалу тоже была в швейном цеху, но так как она была молодая и не было кому работать ее посылали на тяжелые работы. И вот он говорит: «Иди в швейный цех, учись шить, будешь учеником». И там другой хороший человек – Василий Иванович Василенко, он был закройщиком и начальником этого цеха. А мама, когда училась в педагогической школе, тогда в программу входил такой предмет труд. Там их обучали вышивать, вязать – такую ручную работу. И она немножко имела какие-то навыки. И вот эта Марина Алексеевна Гарбузова там же была в швейной мастерской. Вот так всем миром она быстро освоила шитье. Учительницей ей не разрешили работать – даже и не было разговора, потому что из всех учительницей была только она. Была еще одна – Анна Семеновна Кинох – та работала учительницей, а маме не разрешили, а надо было как-то жить, как-то выживать. И работала с 8 утра до 8 вечера, и там быстренько ее раскусили жены начальников, что она не только шьет, она вышивает и вяжет, и давали ей заказы. И она боялась, чтобы не ошибиться – не дай бог опять что-то там не… опять скажут, что враг народа и неправильная. Она такая скрупулезная, она так, чтобы сделать всё так, как надо, хорошо. И эти жены были избалованные и они в основном были некультурные. Они были жены начальников и все. Не платили. Иногда некоторые там кусочек хлеба дадут, а так не платили. Она по ночам сидела дома и вышивала. И вот я помню уже в Пудино жена первого секретаря была Кузнецова. Я фамилию только помню. И она пришла к маме с таким видом – я еду на отдых в Сочи и хочу, чтобы ты мне (она без образования была, обыкновенная баба была, но жена начальника) вышила блузку и чтобы этот узор больше никому не вышивала. Мама сидела, не успевала там на работе, брала домой и вышивала этой Кузнецовой блузку. Она потом приехала и говорит: «Я очень довольна. Там все обращали внимание на мою вышитую блузку». И как-то корокое время после этого она летела из Томска в Пудино. И так я уже слышала – говорили там люди, что попросила пилота (маленькие там самолеты летали), чтобы он над их домом сделал пару кругов. А тот очевидно спустился ниже или не знаю, словом, разбился самолет в их огороде, и погибли они оба. Вот такая драма была. Упал он в их огороде, около их дома.

Вот эти все… Потом там была одна жена военкома Костина. Только фамилию помню. И тоже с претензиями, чтоб мама вышила ей платье так и так и вот так и не так… Они давали нитки и все, потому что у нее ничего не было. И еще проверяли, чтобы отдала то, что осталось. И мама ходила к этой Костиной домой и делала ей примерки. И избалованная тоже, такая жеманная. Я помню ее. И на столе были и конфеты, и даже мандарины были – в Пудино зимой. Хотя бы одну мандаринку или одну конфетку дала бы – на отнеси твоему ребенку, потому что там замкнутый круг, друг друга все, слава богу, знали. Нет, боже упаси. Бедная мама вздыхала только. Костиной там я помогала вышивать, потому что мама не успевала… В общем был рабский труд. Как самый настоящий раб без права голоса. Не дай бог что-то скажешь не так, что-то… Мама говорит (и я сама чувствовала), что у нее была как навязчивая идея: если она пропадет, если с ней что-то случится – пропаду и я. И мне это передавалось всё. Я чувствовала ее состояние. Я видела, как она мучается. Иногда такие безнадежные ситуации! Зима была, так холодно, у нас не было кусочка хлеба кроме как картошка. И еще фурункулез на нее напал. Зимой было дело. Крюкова дала ей больничный, потому что у нее на ягодичной мышце, на ноге и на руке эти фурункулы. От недоедания… Уже иммунитет как-то сдавал. И одна учительница (по-моему, не знаю) попросила ее, чтобы к Новому году она что-то ей пошила, вышила. И я вышивала воротничок к этому платью. И вот так мама была больная как была пошла отнести. И эта женщина дала ей небольшой кусочек мяса от головы, головизны кусочек дала, и один-два рубля вот так что-то. Когда пришла мама, мы так были рады! С картошкой этот кусочек головизны сварили, были рады, на десятом небе. Очень трудно было. И некому было сказать, чтобы помогли, потому что все страдали, не только мы. В 1941 г… В 1949 г. хотя бы семьи вместе были, вместе помогали друг другу, а тут разделили семьи. Мужья у все, почти у всех умерли в Ивделе. И вот с женщинами с детьми власть воевала, так получается. Нас совсем беззащитных и невинных вот так содержали. И уже когда я подросла, надо было идти в школу, у меня не было формы, а сказали, что надо форму. И Василий Иванович Василенко он что-то там дал маме, кусочек какого-то материала: «Да пошей ей вот так что-то похожее на форму, чтобы пустили ее в школу». И она мне пошила еще и воротничок белый, так вышила она сама, ну как – сделала. И с 1 по 4 класс я имела как учительницу… тоже не помню, как звали, помню фамилию – Панкова. Грузная женщина. И что-то ей не нравились эти сосланные. Она иногда так позволяла себе: «Сразу видно, эти сосланные…» И как-то мне было немножко боязно идти в школу, боялась. Не знаю почему. А потом в 5 классе классной руководительницей была Заблоцкая Анна Ивановна. У меня вот есть фотография, я вам ее покажу. Такой души человек! Я была плохо одета, полуголодная, немножко забитая, боязливая, боялась. Но она меня всегда брала на какие-то мероприятия, которые в школе происходили, всегда говорила (не раз, много раз она мне говорила): «У тебя головка, ты учись, несмотри ни на что ты учись. Пригодится. Ладно». Вот она такая была эта женщина. И так я проучилась там 6 классов, в Пудино. 6 закончила. Уже когда приехали в Молдавию, я была в 7м классе. Уже продолжила в русской школе учиться.

Ольга Кривовяз: А в Пудино в школе у вас в классе были смешанные дети– и ссыльные, и местные, и разного достатка?

Лидия Дохотару: Вместе, все были вместе. Да-да-да, разного достатка… Все вместе. Но мы дети как-то разбирались между собой. В основном не соперничали сосланные дети. И учителя мало кто вот так вот… Панкова вот эта была какая-то такая. Я ребенок была перепуганный… Но Заблоцкая Анна Ивановна… И потом там была преподавательница математики немка. Тоже из сосланных – немцы с Волги. Муж ее… Их привезли в Пудино откуда-то из Казахстана, а потом опять они исчезли. Куда-то их перевели или не знаю. Она хороший преподаватель, ничего не могу сказать.

Ольга Кривовяз: А какой предмет вам больше всего нравился?

Лидия Дохотару: Русский язык. Да, я так полюбила эту учительницу. Она нам детям говорила… к нам детям обращалась «дети»: «Ну дети, давайте посмотрим, что мы сейчас будем делать!» А когда в единственном числе: «Детка, ну как у тебя дела?» Вот так она имела подход к детям. Один раз она нам говорит: «Дети, а вот скажите, какой полуостров обижается на свою судьбу?» Она была учительницей русского языка. Ну мы начали там гадать каждый свое. Кто-то принес там обрывок карты, начали смотреть – что они там?.. И никто не мог сказать. Она: «Ну подумайте. Недалеко от нас. Чуть севернее». Вот так она наводящие вопросы. Оказывается Ямал. И вот это я запомнила на всю жизнь. Она воспитывала нас на примерах. Примеры из жизни, какие-то пословицы. Вот она такая была. Она была очень болезненная. Она была участником войны, очевидно, имела ранения, и ее часто мучали головные боли. И когда мы уезжали (летом) она лежала, уже была больной сильно. И мы, несколько девочек, пошли ее навестить. Из класса. И она знала, что мы уже уезжаем. И она говорит: «Я тебе желаю, чтобы у тебя всё было хорошо. Но запомни – не бросай учебу. Учись». Вроде бы посторонний человек, но она что-то там рассмотрела во мне такой забитой и… Она сама составляла какие-то сценарии и брала нас – пьесы какие-то делали. И говорит мне, чтобы я по Гоголю Коробочкой была. Худая – куда мне! Я говорю: «Я не смогу»! И она тут же говорит: «Никогда не говори «не смогу». А скажи «попробую». Попробуй – если получится, значит можешь, а если не получится – да, не смогу». Вот на таких вроде бы простых примерах, ситуациях эта женщина нас детей воспитывала. Я не имела никаких игрушек, ничего, но когда я уже научилась читать, я брала книги в библиотеке. Была библиотека в Пудино, причем по моим понятиям неплохая. И брала всё подряд. И вот она у меня заметила на парте Мопассана. Посмотрела и говорит: «Знаешь, Лида, это надо лет через несколько тебе читать. Это не для твоего возраста. Отнеси назад и возьми другую книгу. Это не для тебя». Я тогда в 5 классе была. А я говорю: «А почему?» «Потому что это для более… чтобы ты поняла. Тебе нужно немножко подрасти, немножко по-другому размышлять». Это были новеллы Мопассана. И я ее послушалась – отнесла и взяла другую книгу. И потом будучи уже в институте на первом курсе в комнате со мной жила Маша Мошкова. Она получала подписные издания. И как раз Мопассан. Я говорю: «Машенька, дай мне. Я заверну в газету. Я не помню ни одной… Дай, чтоб я читала Мопассана». И когда на первом курсе мне уже было 18 лет, уже по-другому мыслила, я опять вспомнила свою учительницу. Как она была права. В 5 классе одна, а когда ты уже закончил школу – другое. Вот на всю жизнь мне это запомнилось, что…

А мама с утра до ночи работала. Был такой случай. Мало, как-то там отсчитывали. Ей дали там в швейной мастерской машинку, а отсчитывали из ее заработка, чтоб она ее оплатила. И получала мало, совсем мало. Нам даже на хлеб не хватало. Хлеб надо было брать по карточке. И там уже пошла о ней молва, что она хорошо шьет и вышивает и вяжет. И вот она дома – так чтоб подработать, а нельзя было шить дома, потому что тот, который шьет или что-то там для себя делает, должен платить государству, а не частному лицу. Значит, не платит она налоги за то, что… И она никогда не ставила цену. Никогда. Она говорила: «Ну сколько хотите дайте». Ой! И было лето, у нас была небольшая избенка. Мы там жили как бы 2 семьи – мы и тётя Дора Зильберман. Она была одна. Муж у нее умер там в Пудино. По-моему, с сердцем что-то было у него. И она осталась одна. Маленькая хата. Она наполовину уже была в земле. А половина – мы жили с мамой. И разделяла нас такая перегородка из горбыля. Уезжали тоже сосланные чеченцы, и мама у них купила. А за что? Что-то у нее из вещей было – она отдала. И вот мы там жили, а тетя Дора была через стенку. И это было летом. У нас был небольшой огород там. Садили картошку, морковку – что-то, чтобы кушать. И приходит женщина одна (я ее не знала) и мужчина (а мужчину я знала. Я знала, что он какой-то начальник. С женой они жили. Дети, по-моему, в Томске были. И он был начальником финотдела (потом уже мама мне объяснила). И вот они подошли и спрашивают меня, где мама. Я говорю: «Дома». Она только что пришла с работы в 8 вечера. А летом там светло, есть белые ночи в июле месяце. И вот они прошли в дом, а у нас там маленькая… Вот так я себе ее представляю – метра 2 и в длину 4 метра. Малюсенькая комнатушка. И там в углу был веревочка и на ней 2 платья висели, которые она шила. И посмотрели – всё такое убогое и нищее. Посмотрели вокруг, и эта женщина посмотрела и хотела что-то спросить. А этот мужчина, Николай Соболев… Я запомнила тоже. А почему запомнила – они недалеко от нас жили. А он говорит: «Выйдем на улицу». Я около мамы стояла, она, бедная, дрожала вся, потому что это было достаточно, чтобы или арестовали, или оштрафовали. Когда мы вышли на улицу, и тетя Дора вышла. Слышно было – такая перегородка из горбыля. И он так подошел к маме и потихоньку… А я около мамы. Я ее держала за руку. Она как осиновый лист дрожала. И он потихоньку ей говорит: «Шей, но людям, а не сволочам. На тебя донесли, что ты шьешь дома. И мы пришли тебя оштрафовать». Вот так он как-то ей напористо сказал. И повернулся к этой женщине и сказал: «Пошли». И ушли. И мама не всегда плакала. Я ей иногда говорила: «Мама, поплачь – легче будет». Она как-то закостенела, она мне говорила: «Кому поплакаться? Некому поплакаться». И когда они ушли, она расплакалась. А тетя Дора говорит (она слышала весь разговор): «Вот видишь, какие добрые люди есть». Кто на нее там донес или что? Но этого было достаточно, чтобы когда они шли в комендатуру на эти допросы, чтобы ее… Видно этот Соболев и та женщина, которая с ним была, не дали этому делу хода. А еще он ей сказал: «У тебя ребенок, ты его должна растить». И так он ей тихо, но таким голосом… Мама дрожала, а я около нее прижалась вот так.

И вот так с миру по нитке бедному рубашка. Мама все время думала, что будет дальше со мной. Хорошо – я окончу 7 классов. А дальше? Там можно было в Пудино 10 лет кончить – была десятилетка. Что будет? Куда я денусь? Что со мной будет. И у нее постоянно было, что с ней что-то случится, и я останусь одна. Она меня как-то готовила все время. Вот если с ней что-то случится, вот если ее не будет, чтоб я Марину Алексеевну слушала, чтобы я вот не так… там была девочка Майя, латышка, - по рукам пошла. «Вот ты видишь Майя, она гробит свою жизнь. Так нельзя». Она мне всё это… И у меня создавалось… вот страх какой-то

Ольга Кривовяз: А когда вы вернулись в родные места – немножко об этом. Там вы пошли в школу. Там где вы жили? С кем жили? Как вы ехали? Помните дорогу эту? Может немножко об этом? Как встречали родственники?

Лидия Дохотару: Да, я уже была большая. Мне уже было почти 14 лет. Мамая меня в пеленках туда везла на руках, а за 13 лет я выросла. Ходой какой ни была, но выросла. И мы получили весть о том, что нам разрешают выехать, ровно 13 числа, 13 июня. Это была суббота. Собрались все мы там. Были разные, но объединяло это несчастье, эта беда, несправедливость… Не знаю, как назвать это. И все собрались, и мы. И такое совпадение: еще три женщины – все три были Ольги. Тетя Оля Шарук, тетя Оля Доня. Они уже пожилые, у них тоже мужья в Ивделе умерли. И Ольга Бужор. У нее была двойная фамилия. Ой, забыла вторую фамилию. У нее мама умерла, и она будучи ребенком несовершеннолетним сама двинулась в Молдавию. И за полгода как-то она добралась до Молдавии. И ее сестра, которая была замужем, имела другую семью и не сослали. Она ее взяла и поженила, чтобы… А ее в 1949 году опять сослали. Привезли опять в Пудино эту Олю. Вот эти три Ольги, мы и еще три семьи было. Но тех я не знаю. Из других сёл были. И давай – как ехать дальше. А мама: «Ой, давай быстрее, чтоб не передумали, чтоб не оставили нас здесь. Денег нету. И уже написала своим родителям в Молдавию. Они уже старенькие были. Они нам прислали деньги на дорогу.

Ольга Кривовяз: А до этого вы не переписывались с родителями?

Лидия Дохотару: Было тоже без права переписки. Но потом разрешили переписываться и где-то в 1951 году даже разрешали, чтобы посылали посылки. И вот мама там на фотографии есть в кофточках, которые ей послали дедушка с бабушкой. Ее вещи, которые там остались. Увидев их, она тоже расплакалась: «Вот мои вещи остались, а жизнь ушла». И там была кофточка – мой отец купил ей на день рождения. Говорит: «Его нету, жизнь ушла. Вот вещи остались. Вот они». Там она есть на одной фотографии в этой кофточке. И продать было нечего. Там машинка, которая была в мастерской, она ее не имела право продать. Она оставалась… хотя она ее оплатила, ей высчитывали из зарплаты. Но когда разрешили посылать кое-что, дедушка с бабушкой что-то послали, и мама что-то из вещей продала. И кто-то там продавал швейную машинку, подержанную, и она ее купила, чтобы шить, подрабатывать. И продала она эту машинку. А еще мы не знали, мы думали, что уже никогда не вернемся. И прямо перед этим разрешением, что с нас снимают это наказание и можем выехать на родину, мы получили еще одну посылку от дедушки с бабушкой. Они нам послали одеяло – мамино, которое осталось, и, по-моему, ее пальто. А это пальто на почте всё развязали, посмотреть, что там, проверить. И это пальто хотела взять начальник почты. Она ей говорит: «А зачем тебе?» Она старше мамы была. Мама говорит: «Когда будет холодно, надену». Пальто такое красивое было. В Бельцах она шила. Может даже у кого-то из ваших, потому что там был портной один. Кто его знает? В общем оставила она ей это пальто. Это пальто и что еще там было – мама продала, чтобы насобирать денег. И назад мы уже ехали без сопровождения солдат. Выдали ей там паспорт уже как… Даже паспорта не имели. Мы не могли оттуда никуда. Паспорта, никаких документов не было. Не только ей – всем, которые…, дали этот паспорт. И вот можете ехать на свою родину или куда хотите по Советскому Союзу. И вот мы из Пудино решили все ехать до Томска самолетом. Вот такие были – по 8 человек садились в этот самолет. Маме казалось, что если она выберется оттуда из Пудино, значит все там остается. И действительно так и было. Она как-то торопилась – быстрее, быстрее. Передумают, вернут меня назад. Тем более, что этот Беспятов все время ей говорил: «Ты не уедешь отсюда. Ты в Сибири останешься». В общем потом на железнодорожном вокзале ждали уже поезд. Не знали, как ехать. Уже там спросили, как в сторону Молдавии. Взяли поезд Новосибирск-Одесса. Можно было ехать до Одессы, а потом из Одессы там рядом уже в Молдавию. Мы же не знали как. И до Киева ехали. В Киеве на Жмеринку. Из Жмеринки уже Слободка, и переехали через Днестр и в Молдавии оказались. Мы целый месяц ехали не плацкартными, а обыкновенными, общими вагонами. Я такая дикая была, если я выросла в тайге. Там поезд подходил к перрону, я как начала орать, что поезд на меня едет. Мне казалось, что на меня. И когда из аэропорта вокзал… не знаю, далеко там из аэропорта на вокзал в Томске? Я уже не помню. Мы все – все три Ольги и мы с мамой – втиснулись в одну «Победу»… Вещей-то не очень было, только мы. И так под гору ехала машина, я как начала орать: «Ой, перевернется машина!» А водитель так: «Сразу видно, что из тайги». И действительно я была не только запуганная, но и… И вот так мы добрались до Молдавии. Но когда мы проезжали в Челябинске через Урал, Уральские горы, мама мне показала на столб. Там есть такой путевой столб, который так символически делит Европу и Азию. И вот она мне говорит (как-то она повернулась, так протянула руку): «Вот там остается наше несчастье. Вот тут в Уральских горах где-то лежат останки твоего отца. Мы никогда не будем знать, где именно». А потом как-то повернулась по ходу поезда и говорит: «А вот там наша родина, но кто его знает, что будет там». И тоже было плохо. Никакой поддержки. Дедушка с бабушкой уже старенькие. В их доме жил младший брат мамы с семьей, а нам пришлось искать квартиру. А денег нету. Маму не устраивают на работу. Помогли родственники. Приходили – кто курицу принесет, кто хлеба. И я когда впервые увидела испеченный домашний хлеб, мне не верилось, что так можно. Такие кирпичи наполовину с водой – я к ним привыкла. И то надо было стоять в очереди, по талону брать. Начала потихоньку привыкать. Пошла в школу в седьмой класс. Была молдавская школа и была русская. И мама подумала – давай я оставлю тебя, учись дальше в русской школе, кто его знает сможешь ли ты… Я разговорный язык знала, а по математике, по биологии, по физике там уже такие выражения специфические, более научные. И вот я училась, закончила 10 классов. Маму не устраивали поначалу на работу. Помогли ей тоже добрые люди. Лазар Эпштейн и Давид Гершкович помогли ей устроиться. Дали ей – первый класс открывался, и она с первого по четвертый. Она учительницей начальной школы. Что еще ей мешало? Что когда нас тогда ночью ссылали, арестовывали, диплом – свой и мамы – взял отец. Он погиб в Ивделе, и дипломы эти затерялись. Она не имела диплома. Она написала в Москву в Министерство иностранных дел. Там переправили… В общем длилось полгода, пока ей дубликат из Румынии не выслали. Но во время войны было там, где она училась, было разбомблено. И весь архив пропал. И не знаю по каким данным, где, как, но дубликат дали без оценок, а написано «в связи с тем, что во время войны это учебное заведение было разрушено, архив пропал, вот этот диплом действителен». Как-то там было сформулировано. Видно, где-то в другом месте сохранились общие данные архивные о том, что действительно она закончила. Но без подробностей, какие оценки. И вот так. Когда уже устроилась…

И вот мама в своих воспоминаниях описывает, что когда она работала, не могла спокойно работать. Школа была смешанная – русско-молдавская. И учителя, которые русские были (не все, но были там), всегда терроризировали тех, кто в молдавской школе работали. А мама тем более из сосланных. И тут надо было страдать.

Ольга Кривовяз: Ваша школа была русская и как отношения были с одноклассниками? С учителями?

Лидия Дохотару: Нормальные были. Дети разбираются лучше, чем взрослые. Все нормально было. Класс был небольшой – где-то человек 15 нас было. Хочу сказать, что учителя были хорошие. На русском языке вели нам занятия. И уже после того, как кончила школу… А там в Пудино меня укусила собака. И это уже к концу нашего пребывания там. И лето было, купалась, и начало нарывать. Мама говорит: «Пойдем в амбулаторию». А там уже приехал в помощь Крюковой (но он мало был у нас). Я не помню, как его звали, не помню фамилию. Он мало был. Молодой, он только кончил институт. Татарин он был. И он сказал маме так: «Вы идите на работу, она уже большая. А ты если будешь купаться, я тебе отрежу ногу». Обрабатывал мазью Вишневского. Я потом, уже когда училась, поняла. Она имеет запах специфический. И вот когда я приходил, он снимал, делал мне повязку. Говорит: «А ты в каком классе?» А я уже перешла в шестой. «Кем ты хочешь быть?» Я говорю: «Учительницей русского языка». Так как Анна Ивановна. Он перед тем, как снимать повязку, прикрикивал на меня: «Не вопить! Будет больно, не вопи. Терпи». Сдирал. Она действительно болела, присыхала. Дети говорят: «Пошли купаться». «Не иду, потому что сказал, что отрежет ногу». И действительно здесь надкостница, и может если кость, не дай бог заденет, то другого выхода нету – только отрезать ногу. И-то опасно. И вот так как-то он мне эту рану обрабатывал – где-то я с неделю ходила. Что-то мне въелось в голову пойти в мединститут, раз так сказал врач, что из меня получится хороший… И пошла сдавать в мединститут. Не было здесь всех факультетов. И получила извещение из мединститута, что я зачислена в Харьков. Без моего ведома, я даже не знала, что там есть. Были со мной, которые учились в Харькове, которые специально подали так, потому что они знали. А я забитая приехала, не знала. И вот с Харьковом я до сих пор поддерживаю связь. Такая группа. Они меня перевоспитали. Они меня учили бороться, защищать себя, быть более такой активной. Я была закомплексованная, я боялась всего. Жизнь в Сибири наложила отпечаток на все.

Но что я хочу сказать – вот все-таки суровая природа, нечеловеческие условия жизни, столько страдания, столько людей страдало, столько умирало. Очень болезненно все переносили, когда шли в комендатуру, там еще и арестовывали то одного, то другого. Все это как-то откладывалось, оставалось каки-то осадком в душе. Но все-таки как светлый луч в темном царстве – отдельные люди. Человеческий фактор. Люди, которые помогали, видя безысходность положения, видя ситуацию, в которой мы находились. Мы не имели никакого права. Уже после смерти Сталина начали какие-то давать права.

Ольга Кривовяз: А если говорить о людях, а именно о Сталине как о человеке: было ли у вас позднее (когда он умер, вы были еще совсем молодой) какое-то отношение к нему как к человеку? Негативное или наоборот позитивное на волне пропаганды?

Лидия Дохотару: Нет, только негативное.

Ольга Кривовяз: То есть вы понимали или тогда, и сейчас?

Лидия Дохотару: Да, и тогда, и сейчас. Это был криминал, который … Не знаю, может быть если бы он имел какое-то образование, может он по-другому бы поступал. Для него человек и судьба человека не значило ничего. Я так воспринимаю. Я не знаю, назвать бы его жизнь счастливой или нет: дети все погибли. Его сыновья, потом дочка где-то там на Западе. Не знаю. Каждый по-своему. Но он имел огромную власть. И вот эту власть он использовал, не чтобы помогать людям, а чтобы уничтожать людей. Конечно, у меня лично сохранилось очень негативное отношение.

Ольга Кривовяз: А как вы считаете виноват только один человек – Сталин и все остальные были исполнители – или вы видите это по-другому? Ваше мнение какое?

Лидия Дохотару: Была создана система. Она называлась «советская власть». И эта система поставила целью создать нового человека. Вот этого нового человека эта система создавала. Один человек ее не может создать. Он подобрал себе подобных, сделали определенную идеологию, и по этой идеологии, по этой системе, по этим принципам все шло. И все шло к развалу в конце концов, потому что говорилось одна, делалось другое. Была не только несправедливость, но и лжи много было. И люди вступали в партию, давали присягу и все такое не ради того, чтобы во имя этой партии делать людям хорошо, а во имя собственных интересов, добивались. Если ты член партии, даже если ошибешься, тебе простят. Это была большая ошибка. Не так надо было. Это система. И если осуждать, то надо систему, которая погубила стольких людей.

Ольга Кривовяз: А когда начала происходить оттепель после смерти Сталина, было ли заметно, например, в Молдавии, где вы оказались, возвращение большого количества людей из лагерей, из ссылки? Было ли какое-то влияние на быт, на язык, на атмосферу?

Лидия Дохотару: Было. Возвращались люди, устраивались, но все было с оттенком боязливости. Оставалось это. И у нас тут в Молдавии многих даже не принимали в села, потому что те, которые несколько лет назад сослали их в Сибирь, сейчас были начальниками, и их это не устраивало. Искали мотивы, чтобы избавиться от этих людей и не принимали. И некоторые даже возвращались назад в Россию. И такие я знаю случаи. Такое какое-то смутное, тревожное, неопределенное время было. Конечно, я была… потом я была студенткой. Вот я когда была студенткой, я была на четвертом курсе, я проходила практику в Киеве. Ну не я, нас 50 человек приехало. Нас распределили по общежитиям. И я с моей подружкой Линой Дьяченко попали в общежитие института легкой промышленности, по-моему, потому что в мединституте нас было много – 50 человек и не хватало мест. И был май месяц. И вот с нами в комнате жила девочка из этого института – Валя. Мы очень хорошо мирились. И уже мы собирались, уже кончалась практика где-то в августе, а она говорит: «Я остаюсь еще». И как-то мы были вдвоем в комнате. Я говорю: «А что остаешься? Что ты не едешь домой?» Она говорит: «Устроилась на временную работу. Я хочу заработать денег и купить себе часы. Куплю эти часы и уеду домой. На практику я». «Дак ты пока заработает эти деньги, кончатся каникулы». «Да нет, я там уже немножко работала»… Вот так мы разговорились. Я говорю: «Что тебе эти часы обязательно прямо сейчас покупать?» Она говорит: «Я не хочу маму Дусю обидеть». «А почему ты маме говоришь «Дуся»?» И вот эта девочка мне рассказала свою судьбу. Мы вдвоем были. Студенты они как-то более доверчивы. Ее отец после войны был послан начальником КГБ в одно из селений в Закарпатье. А там было сопротивление большое советской власти. Она говорит, что я шла в школу с солдатом, меня солдат отводил и приводил из школы. Мать ее не работала – сидела дома, была домохозяйкой. Отец работал, был начальников. И в один прекрасный день принесли на руках ее младшего брата раненого. Кто-то в него в этого ребенка выстрелил. Через короткое время ее брат умирает. Потом от горя от всего от этого умирает мать. Отец уже не мог все это переносить подавал заявления, рапорт или как там называется, чтобы его освободили, перевели в другое место. Не переводили. И у него инфаркт получился. После этого инфаркта им разрешили оттуда выехать. Через короткое время умирает и отец, и она остается с мамой Дусей, которая у них была домработницей в доме. И вот эта женщина ей помогала и учиться, и все. И как-то она мне говорит: «Ты знаешь, так тяжело без отца. А у тебя есть отец?» Я говорю: «Нету». «А почему? На войне?» «Нет, не на войне. Ты знаешь, Валя…» Не знаю, как я ей… В общем коротко так рассказала: «Вот оттуда из Закарпаться к нам туда в Пудино привезли… «гуцулы» им говорили, из этих мест как ты говоришь. Может твой отец что-то сделал плохое». «Я не знаю. Его работа такая была». Она мне как-то вот так говорит: «А ты носишь злость? Злость у тебя есть?» Я говорю: «Нет, Валя. Я не злюсь, не на кого злиться, а просто болит душа. Вот я тоже не имею отца. Мама одна всю жизнь мучалась, и вот сейчас меня старается выучить». «Вот видишь – ты выучишься, будет у тебя специальность». Вот так как-то мы… Дети между собой быстрее находят общий язык. Но ее судьба меня поразила. Представляешь, вся семья ушла – один за другим. Вот она рассказывала – мне не верилось. И потом я ее спросила: «Как с мамой Дусей вы миритесь?» Она говорит: «Очень хорошо. Она мне их всех заменила. Я одна осталась». Вот столько драм таких. Не знаю. И так мы по-хорошему расстались: «Валя, успехов тебе и удач».

Ольга Кривовяз: Мама вам, конечно, много рассказала, но была ли какие-то темы, которые она не хотела затрагивать?

Лидия Дохотару: Нет, она мне все рассказывала. Она и в книге довольно правдиво пишет. У нее такая была… Она всегда хотела высказаться. Я так понимаю – она искала какой-то поддержки: вот она выскажется и ее поддержат или какое-то мнение. Нет, мы с ней жили душа в душу.

Ольга Кривовяз: А при этих рассказах вы видели, что у нее остается какой-то страх или просто боль?

Лидия Дохотару: Боль и недоумение: ну почему, ну почему нас так мучили, ну почему ты отца не имела? Он не занимался никакой политикой, он работал и все. Вот какое-то недоумение было и был и страх. Был страх перед будущим – что будет, как оно будет, что случится.

Ольга Кривовяз: Есть часть людей, которые говорят, что они ничего не знали о репрессиях – ни тогда, ни сейчас. Как вы думаете, вообще это было возможно скрывать масштабы репрессий без участия и согласия общества или все-таки все в этом участвовали можно сказать?

Лидия Дохотару: Конечно, нельзя было. Но такая была идеология. Опять-таки идеология, которая была построена… Вот я сама вот так думала: почему именно в России (потому что русский народ набожный), почему здесь вот этот жуткий эксперимент или как я не знаю вот это все произошло? И как-то начала сама… я не историк, но так листать, читать… Где-то в начале 19го века было образовано общество народовольцев – Петрашевский, Спешнев – и к ним примкнул и Федор Михайлович Достоевский. Он был не только большим писателем, он был большим психологом. Он анализировал душу человека. И у этих петрашевцев в программе… У них был программа действия – свернуть царское правительство. Действительно народ жил плохо, и до 1861 г. не было отменено крепостное право, рабство было в России. Может быть вот это позволило вот этому эксперименту? Не знаю, это уже вы, историки, разбирайтесь в этом вопросе. И у них было 3 пункта, через которые мы прошли, кто жил при Советском Союзе. Это социализм, атеизм и террор. Я когда прочитала, мне не верилось. Террор. А мы по истории учили – гегемония пролетариата, диктатура пролетариата – это террор. И через этот террор мы прошли. Атеизм. Вот почитай письма Павлова. Он там пишет, что душа русского человека без религии не душа. Не надо забирать религию. Он потом писал письма Ленину, Сталину. Вот это все перевернуло… Ведь были какие-то традиции, какие-то накопленные вот так веками. Даже мы когда приехали в Сибирь, там еще кое-какие традиции сохранялись. Народные такие, простые. А потом все это растоптали. Создавали нового человека. Мы новый мир построим. Вот и построили. Что мы построили? Система. Эта система должна быть осуждена. Она сделала очень много плохого. Было разрушено крестьянство. Причем как-то планомерно и вот так вот. Крестьянин прирос к земле, он там работает, и он уже там хозяин. Он делает и еще лучше хочет сделать. А его из точки А в точку Б, оттуда туда перекинули и еще куда-то. Он уже остается растерянный: а если у меня уже все забрали, тут я сделаю – у меня опять заберут. Уже нету интереса… Умы человеческие, интеллигенцию безжалостно истребляли. Вот это я считаю большое горе. И возможно вот оттуда… потому что большевики взяли на вооружение вот это – социализм, атеизм, террор. Мы же учили – гегемония пролетариата и диктатура пролетариата – это террор. Диктатура. Слово диктатура говорит за себя. Там ничего не добавишь.

Ольга Кривовяз: Ваша мама всегда делилась с вами своим опытом. А когда она начала делиться именно с членами всей семьи?

Лидия Дохотару: Всегда. Вот мы как-то с ней… Я привыкла… После того, как она умерла, я года два чувствовала, что мне что-то недоставало. Я даже встречалась с тем, с другим (с общими знакомыми) и приходила: «Мама!..» А потом – мама уже нет. Года два я не находила себе места, потому что я привыкла с пеленок быть около нее. У нее был такой тихий спокойный голос. Она очень сострадала другим, даже иногда больше, чем себе. Она жалела людей. И всегда она мне говорила: «Так хорошо, что ты была маленькой и не видела всего. Сколько горя было вокруг! Подросла – тоже было горе, но уже меньше». И она всегда делилась, всегда рассказывала мне. Иногда я ее просила: «Мама, давай не вспоминать, давай забудем». Она говорит: «Не могу забыть». Она так мне говорила, что самые счастливые моменты в ее жизни, вот эти четыре года, сколько они успели прожить с моим отцом вместе. Она говорит, он было очень общительный, добродушный человек, веселый, отзывчивый. «Мы находили с ним общий язык. И потом, когда я растила твоих дочек, внучек. Я их растила и вспоминала тебя – маленькие, беззащитные, надо ухаживать, надо помочь, надо поставить их на ноги». Даже когда в Magazin Istoric (румынский исторический журнал) мы послали, то нам сказали там, что иногда мы вмешиваемся в тексты, мы не имеем права пропагандировать ксенофобию, злость. У нее этого нет. Она просто рассказывает. Даже есть такие юмористические моменты. Она рассказывает и все. Она такой была человек. Она ни на кого не злилась, она прощала всем. Даже тем, которые она знала, что подписали нам приговор. Она говорила “El e să plată Domnului”, значит «Оставляй их на божий суд». Я ни разу не видела ее, чтобы она с кем-то ссорилась, ругалась, пререкалась. Моя старшая дочка это заметила и говорит: «Я буду делать так, как бабушка делала – отойду в сторону и промолчу, лучше промолчу». Так делала она.

Ольга Кривовяз: Как вы считаете – самое главное последствие того опыта, который вы пережили? Что изменило вас навсегда – вас и вашу маму?

Лидия Дохотару: Навсегда? Боль в душе, какая-то рана. Мне не хочется ее тревожить. Я никого не виню также как и мама. Я следую ее… как она говорила. Это бесполезно. Она знаете, что говорила? «Одно зло рождает другое. Никогда не своди ни с кем счеты. Даже пусть он тебе сделал что-то. Отойди в сторону, оставь с богом». Но осталась вот какая-то пустота. Все-таки жизнь одна и хочется ее прожить по-человечески, так как надо. Вот они пошли в путь… Мой отец был из большой семьи. И с пяти лет остался без мамы, со второй мамы. Семь детей. Но вторая мать оказалась очень хорошей женщиной. Она их, как он говорил, кормила, обстирывала, ждала, и они ей говорили «мама Иоанна». Они ей говорили «мама», все семь. Он ценил семью, потому что мать их рано умерла. Вот у нее было так: «Мы решили так свою жизнь создать, чтобы по-человечески, нормально прожить ее и вдруг, в одночасье все разрушилось».

Ольга Кривовяз: А как вы относитесь к такой формулировке, которую некоторые люди высказывают «не надо ворошить прошлое», «не надо вспоминать»?

Лидия Дохотару: Надо. Какое бы оно больное, болезненное ни было – надо, потому что оно может повториться. И по-моему, уже то тут, то там. Надо, надо. Во-первых, чтобы не повторилось, а во-вторых, все-таки надо воскресить имена тех, которые умерли, которые пострадали. Сколько детей! Сколько женщин! Сколько… Вот там в Пудино нас было… Мы были в основном дети и женщины, потому что мужей забрали… Уже в 1949 году так еще были вместе с мужчинами, вместе с мужьями, а в 1941 г. их забрали в этот Ивдель, в этот лагерь. Надо ворошить, надо. Это во имя памяти тех, которые пострадали. Надо. Надо вот эти молебны. Вообще у нас делается более красиво. Сейчас эта стройка там зеленая, грязная за нашей спиной. Вы видели там? Они сейчас борются, чтобы назад вернуть памятник. И видите как? Стоял памятник. Он скромный, он маленький, но это в память тех людей, которых там терзали, пытали и убивали. Взяли перекинули его сюда, там строят забегаловку. На месте, где людей пытали. Вот во имя этого надо. Вместо того, чтобы туда пойти посидеть так молча, вспомнить своих родных, которые пострадали, вот так как-то… Надо, надо. Не ворошить – это, наверное, не совсем правильное выражение, а восстанавливать правду. Это как проклятье получается, потому что человеческие души вот там где-то… мы не знаем этого, но где-то может просят нас – вспомните о нас, вспомните, мы были. Мы с мамой не были такие верующие… верующие – да, но чтобы быть фанатами… Я хочу такой пример, а быль. Я маму похоронила здесь возле Кишинева, родственники недалеко здесь. Потому что Сэнжерей – это… я не знаю вчера он сказал 140, 120 по-моему до Бельц, ну не знаю, он лучше знает с машиной ездит… Похоронила, я вам покажу. Я поговорила с батюшкой и сделала фотографию, где они вдвоем. И батюшка сделал молебен, пришел на могилку мамы, там освятил, тоже сделал молебен, там он что-то закопал в землю. Словом, все сделала так… И закопал и крестик. И вот в то лето, мама в 2002 году умерла, на третий день Пасхи. Она говорила: «Справить Пасху, а потом что будет». Вот так и на третий день Пасхи она умерла в полном сознании. Последними ее словами было: «Зачем и почему?» На последнем дыхании, еле-еле слышно было. И вот вдруг мне приснился сон, что она вот вроде был лежит, такое белое, светлое лицо у нее, вокруг нее много детей. А если она 13 лет была в Сибири, то она не работала учительницей, но 5 лет до Сибири и потом после она была учительницей. Причем ее очень уважали. И вроде эти дети… И она на меня смотрит и молчит. А у меня были внуки как раз. Я говорю: «Иду посмотреть, что…». Пошли, дошли до кладбища и тут разразился ливень. Такой ливень! Там маршрутка ходит. Мы сели быстро в маршрутки, приехали домой. В следующую ночь – тот же самый сон. Мама, вот такое светлое лицо, вокруг нее дети, и она смотрит на меня вот так. Я говорю: «Детвора, пошли назад». Были дожди. И вот эти дожди смыли землю, и вот этот крестик обнажился, который батюшка там закопал, обнажился. Я взяла все прибрала, принесла земли. Все вместе втроем закопали, все сделали. И я соседке говорю, а она: «Она тебя просила прийти, навести порядок». Вот какое-то, что мы не можем объяснить, выше наших понятий, но какая-то связь есть, что-то есть. Потому не ворошить, а вспоминать прошлое и говорить правду, святую правду, чтобы больше не повторилось вот это зло, вот это насилие, нечеловечность, противопоставление людей друг против друга. Мама так говорила (не знаю, насколько я выполнила): «Ты человека суди не по цвету глаз, не по той должности, которую занимает, не по национальности, а по тому, какой он человек, что он за человек».

Ольга Кривовяз: А как вы думаете, что должны делать люди, чтобы не повторилось то, что произошло?

Лидия Дохотару: Жить дружно. Надо жить вместе. Мы под одним богом ходим, но по-разному ему поклоняемся, мы под одним солнцем живем и нам терзать друг друга и делить нечего. Я другое говорю: надо бы, чтобы те, которые решают наши судьбы… ведь и когда подписывали пакт Реббентропа-Молотова, подписывали нам приговор… вот те люди, которые стоят у кормила, руководят, чтобы эти люди отвечали за то, что они подписывают, за то, что они делают, а не так это пожимали друг другу, и те дураки ответят за нас. А мы тоже люди, у нас тоже и дети, и хочется подышать свежим воздухом. И потом – что добилась власть Советов, уничтожив столько людей? Причем уничтожая планомерно. Они имели план и перевыполняли этот план. И вот я сейчас с этим братством смотрела списки. Вчера как-то было немного и холодно, и так это… Там такие молодые люди, которые могли бы принести обществу какую-то пользу. И что еще интересно – после революции многие бежали сюда. В другие места, но и в Молдавии много осело русских людей. Осели, за 22 года тут они себе кто семью завел, работали, все. И вот в этих списках они сейчас идут – как белогвардеец, как не знаю что. Русские, свои же. Расстреляли вот там, где мы стояли

Ольга Кривовяз: Вчера был день памяти.

Лидия Дохотару: И вот там по спуску надо сделать археологическую… Там до сих пор находят скелеты людей. Там еще не все разрыли, а там делают вот… Видите, если мы не говорим правду и не знают люди, вот на костях человеческих строят забегаловки.

Ольга Кривовяз: Как думаете, почему некоторые люди не хотят давать интервью о своем прошлом, о репрессиях?

Лидия Дохотару: Зависит от человека. Может кто-то считает, что это не нужно в пустую. А может у кого-то какая-то вина. А может… что я меньше думаю. Какую вину мы имели? А может быть просто безразличие: а ну его – было и прошло.

Ольга Кривовяз: Вы общаетесь с теми, кто… с бывшими узниками, жертвами репрессий.

Лидия Дохотару: Да-да, общаемся и друг друга понимаем, потому что прошли через одно и тоже. Когда я увидела вас, когда вот там брали у Владимира интервью, у меня такое появилось состояние, что я как будто людей, которые со мной были… люди, которые страдали, они мне как родные. Вот у меня такое. И против моей воли вот так лились слезы. Я начала плакать. Я дня два ходила сама не своя. Я позвонила Октавиану Цику, говорю: «Вот так и так, я знаю этих людей, которые вы там в фильме…» «Как вы знаете?» «По маминым воспоминаниями. Я была там, но мне было несколько лет – 3 года, сколько там». Была бы сейчас мама, она бы точно все сказала, но она мне много рассказывала о них, и она очень переживала, что столько людей пострадало, это во-первых. А во-вторых, она в книге это описала. И когда она мне рассказывала, у меня одно было восприятие, а когда я прочитала, мне стало страшно. Говорю: «Мама, это геноцид! Мама, тебе не поверят». «Это было, дочь моя, fata mea», – она мне так говорила. Я с психологом одним говорила. Она говорит, вы знаете у нее было такое состояние – высказаться, и она очень хорошо сделала, что вас не послушалась, она оставила после себя. Я много думала – написать или не написать. Олечка, по-разному воспринимают. Один – «а, не хочу даже и вспоминать!» Вот со мной работала там, много лет проработали, она гагаузка, очень порядочная женщина. Тоже сосланная, но в 1949 году. Она: «Да оставьте! Да бог с ним!» Говорю, Вера Ивановна, вы как будто там на курорте были. Разные люди. И это, я считаю, в порядке вещей. Это зависит и от нервной системы, и от воспитания, и вообще от самого человека – какой он, как он все. А вы, историки… История сама очень интересна. Вот я начала заниматься, рыться. Интересные факты дает нам история, она все собирает. Но историю используют в своих интересах политики. И нередко в этих целях используют историков, которые искажают. Уже Куликово поле не там, а в Москве и так далее. Поэтому уважающий себя историк должен говорить правду, а сказать правду значит нужно поднимать прошлое. Вот вчера как говорили – около Тирасполя эти массивные захоронения. Все знали, что там убивали много людей – 1937-1938. Вот я вам те книги дала – это по Приднестровью. Да и еще что я хочу… Я должна была тоже ехать с ними туда, но я не поехала, потому что приезжают сибиряки, я должна быть на месте, я должна немножко подготовиться. Вы в субботу приехали? И они с субботу.

Ольга Кривовяз: В воскресенье.

Лидия Дохотару: А, вы в воскресенье, они в субботу закончили. Говорю, не, не еду. И в Москву не поехала. Так что надо. Но когда мы начинаем ворошить прошлое, чтоб не было злобы. Быть просто на позиции правдивости. И даже вот те… Я с одной женщиной разговаривала, она говорит, что это русские! Не русские. Русские там пострадали. Когда все началось, не только русские, а все нации, которые были в России, они начали первыми страдать. А потом это красное чертово колесо потянулось дальше, куда заходили эти войска. И система, которая была создана. И надо судить тех людей, которые создали эти систему. Нацизм и Гитлера перевернули сверху вниз, снизу вверх, как хотите. А то, что здесь произошло и погибло столько людей – молчат. Поэтому то там, то здесь появляются.

Ольга Кривовяз: Как вы относитесь к возрождению культа Сталина?

Лидия Дохотару: Плохо. Нельзя. Культ нельзя возрождать. Культ – это террор, безрассудный террор. Отрицательно. Это мое мнение. Никаких культов. Человек, который взял бразды правления, должен быть честным перед тем народом, которым он правит. Служить ему. Не использовать, мол, я вождь и так далее, а служить народу.

Ольга Кривовяз: Пожалуй, последние вопросы. Каким должен быть музей истории ГУЛАГа или истории репрессий? Какие темы стоит раскрывать в таком музее?

Лидия Дохотару: Ой, Олечка, все темы.

Ольга Кривовяз: Касаемо репрессий и ГУЛАГа нет запретный вопросов?

Лидия Дохотару: Во-первых, надо начать с того, разъяснить всем и нам, которые прошли ГУЛАГ, почему он возник, какие мотивы, какая причины, откуда взялось все это, на какой почве все это создавалось. Вот этот социализм, атеизм, террор и т.д. уже. Это во-первых. Во-вторых, создать не базу данных, а как сказать… чтобы каждая страна, которая пострадала, назвала имена своих людей, которые пострадали. Вот эта Caretea Memoriei (Книга памяти)… там тех, которых я знаю, которые были со мной там в Сибири, их нет в этой книге. Это неофициальный, но исторический документ для истории, для памяти. Книга памяти. Это исторический документ. Больше делать конференций, собраний и знаете не зарываться в собственном соку, а вместе со всеми, с другими странами – конференции, сообщения, доклады. И прийти к общему выводу. Вот с этого года 23 августа уже является днем памяти жертв всех репрессий – и фашизма, и сталинизма и т.д. Вот в этот день, я считаю, это должны договориться между собой все эти музеи, чтобы мы все вместе со всех стран… Я сейчас видела в Ливане, по-моему, взялись за руки и 170 км сделали живую цепи, чтобы выгнать своего нерадивого руководителя. А мы чтобы вот так взялись за руки и показали, что мы помним тех, кто пострадал. И взялись за руки, чтобы не дай бог это не повторилось, вот в этот день. Чтобы и церкви, и синагоги какие-то службы сделали в память. А так люди черствеют. А молодое поколение вообще не знаю. А что это было? А к чему это все? А если завтра не дай бог повторится? Мы не должны этого оставить. Но чтобы не было злобы, чтоб не было насилия, чтоб не было каких-то наветов, все по документам, по архивам. Архивы должны быть самым главным. И вы очень хорошо делаете, что ищете следы ваших. Вот этот маленький Миша – чем он был виноват? И не только он. Сколько таких? Оказался виноватым.

Ольга Кривовяз: Пожалуй, у меня все вопросы закончились. Спасибо большое